



Н.С. ЛЕСКОВ

Николай Семёнович Лесков

Вдохновенные бродяги

Содержание

I	.0005
II	.0008
III	.0012
IV	.0015
V	.0020
VI	.0023
VII	.0027
VIII	.0030
IX	.0035
X	.0039
XI	.0041
XII	.0045
XIII	.0047
XIV	.0050
XV	.0053
XVI	.0058
XVII	.0063
XVIII	.0067
XIX	.0069
XX	.0072
XXI	.0075
XXII	.0080

Николай Лесков Вдохновенные бродяги (Удалецкие «скаски»)

*«Величие народа в том,
Что носит в сердце он своем».
Ап. Майков.*

*«И ложные слухи в народе
показывают стремление этого
народа к известной цели».
Еписк. Порфирий Успенский.
(См. «Книга бытия моего», т. I, стр.
357)*

«Скасками» назывались в России сообщения, которые «бывалые» люди, по возвращении из своих удалых прогулок, подавали своим милостивцам или правителям, а иногда и самим государям. В «скасках» удальцы обыкновенно повествовали о своих странствиях и приключениях, об удали в боях и о страданиях в плену у чужеземцев, которые всегда старались наших удальцов отклонить от любви к родине и привлечь богатыми дарами в свое подданство; но только наши люди обыкновенно оставались непоколебимо верны своему царю и отечеству и все соблазны чужих людей отвергали и постыждались, а потом этим вдохновенно хвастались. Более или менее интересное сочетание былей с небылицами в этом роде составляет главное содержание всех «скасок», а характерные черты их бродяжных героев – это отвага, терпенье и верность. За эти добродетели скасочники просили себе награды, и «скаска» затем и подавалась. «Скаскам», которые сочиняли о себе вдохновенные бродяги, у нас легко вери-

ли, их читали вместо путешествий, и они доставляли удовольствие высоким лицам, которые не читали ничего лучшего, а составители «скасок» получали через это славу от соотечичей и награды за удалство от правителей и государей.

Разумеется, до полных результатов в этом роде достигали не все «скасники», а только такие, которые были сложены особенно хорошо, то есть любопытно и «лестно» в патриотическом смысле. Таким милостивцы давали «высший ход» и сочинения эти доходили до царских палат и теремов, откуда вдохновенным сочинителям исходило «царское жалованье». И кроме того, после к ним уже никто не смел вязаться с требованием ответа за «шатательство» и за какие бы то ни было старые неисправности, так как «кого царь пожаловал, того и бог простил».

При императоре Петре I, с изменением, происшедшим в понимании русских людей, «скасники» вдохновенных бродяг потеряли свое значение в обществе: невежественные люди ими еще интересовались, но петровские грамотеи, ознакомившиеся с лучшими произведе-

дениями, перестали интересоваться «бродяжными баснями». А главное, деловитый царь не любил потворствовать глупостям, и «скасочников» прямо стали называть неучтиво «бродягами» и бить батогами.

Такая суровость не давала вдохновению бродяг простора, и «скаска» их было перевелись или оставались только в сфере преданий, живших в «местах заключения». Это была устная, «острожная словесность», но нынче вспомнили и о «скасках» и дали недавно русскому обществу любопытный и будто бы последний образчик такого произведения, которое очень понравилось самой сильной современной русской газете, которая указала на это, как на прекрасную и достойную внимания вещь. Но на самом деле «скаска» в добросовестной литературе не могут получить похвалы, а должны получить прежде всего разъяснение их достоинств.

Настоящий очерк должен быть опытом в этом роде.

В истекающем 1894 году, в «Чтениях Моск<овского> Общ<ества> Ист<ории> и Древн<остей> России» напечатаны две челобитные со «скасками», поданные в 1643 г, царю Михаилу Феодоровичу «турскими полонениками», калужским стрельцом Иваном Семеновым Мошкиным и московским посадским человеком Якимом Васильевичем Быковым.

Редакция большой и самой влиятельной теперь петербургской газеты заинтересовалась этим документом и воспроизвела «скаску» с полным доверием ко всему, что там сказано. Она прямо назвала «скаску» Мошкина и Быкова «достоверным источником, который обстоятельно рисует быт чужих стран и предприимчивость, бескорыстие и патриотизм русских людей».

Думается, что если бы газета знала, какими людьми и с какими целями составлялись такие «челобитные со скасками», то она наверно предпочла бы просто перепечатать «скаску», как любопытный образчик этого ро-

да письменности, и не стала бы заверять «достоверность этого источника», явная ложность которого до того очевидна, что, несмотря на давность событий и отдаленность места описанных происшествий, а также на полное отсутствие проверочных сведений – ложность «скаски» все-таки легко доказать из нее же самой, что мы сейчас же и попробуем сделать.

Главным сюжетом «скаски», приведенной в «Чтении Общества Истории и Древностей», служит отважный побег некоего Мошкина, вместе с 280 русских «полоняников», томившихся более семи лет на турецкой каторге. Побег был устроен из Царьграда по заранее обдуманному плану с судна «каторги», которое принадлежало Апты-паше Марьеву.

На судне, по словам Мошкина, было «250» турок и «280» русских невольников, – значит, почти на каждого русского невольника приходилось по одному турку. Пропорция ужасная для устройства побега, но тем интереснее: как это делается.

Мошкин под Азовом украл у турок сорок фунтов пороху и спрятал их у себя на «катор-

ге», где их содержали так слабо и доверчиво, что они никому не попались с своей кражей. Мошкин решился взорвать «каторгу» в море и, когда произойдет взрыв, уйти с судна со всеми своими товарищами, 280 русскими пленяниками. С этой целью один раз ночью Мошкин пробрался в капитанскую каюту, захватив с собою весь украденный пуд пороха, и заложил весь этот заряд целиком около того места, где спал Апты-паша, и подстроил под порох горящую головню; порох вспыхнул и произошел взрыв, и «двадцать турок побросало в море»; но и сам Мошкин «обгорел по пояс». Паша, однако, остался невредим, так как он спал на «успокойном месте», и, проснувшись, поднял тревогу. Мошкин «учал ему говорить спорно», а потом бросился на пашу и проколол ему «брюхо». Началась схватка, после которой 210 турок были побиты, а 40 живых закованы в железо, а из русских 20 ранены и 1 убит.[1] Сам Мошкин был ранен стрелой в голову, правую руку и саблю – в голову и брюхо. После победы русские под предводительством Мошкина «пошли на судне». Идучи Средиземным морем, они по-

бывали в «7 землях» и в Россию вернулись через Рим, Венецию, Вену и Варшаву. Они приставляли и высаживались во многих городах и везде обращали на себя внимание и зависть иностранцев: везде «королевские ближние люди перезывали их в свои земли на службу и многие гроши давали». Такие богатые делали им предложения, каких, они знали, что в родной земле им ожидать себе невозможно, но они все не соблазнялись и плыли, и, заболтавшись по морю, попали в испанский город Мессину, где испанский генерал увидел Мошкина и стал предлагать ему «по 20 р. в месяц», а всем прочим «давал гроши и платья, и жалованья». Но Мошкин и все другие русские люди не польстились на выгодные предложения чужих правительств и «не подумали остаться в Европе».

Воздержались они от этого соблазна, «помня бога, православную веру, свою русскую природу и государеву милость».

Испанский генерал и прочие вельможи, увидав, что русские люди так верны, что не приняли сделанных им выгодных предложений, рассердились на них и переменили с ними обхождение, и вместо прежних ласк и соблазнов начали их донимать утеснением и скорбями. Начали они это с того, что, по приказанию своего воеводы, «отняли каторгу (судно), со всеми животы» (т. е. имуществом), а также отняли у них и сорок человек турок, которых освободившиеся русские сами содержали теперь у себя в плену и надеялись притащить их взаперти к себе «ко дворам» или продать где-нибудь в неволю, а при опасности, конечно, не затруднились бы сбросить и за борт. Но испанцы досмотрели, что везли на судне, и все это дело расстроили: они не только отобрали турок и выпустили их на свободу, но еще из самих русских взяли семь человек под арест, вероятно для того, чтобы узнать, что они за люди и по какому праву держали у себя запертыми на «каторге» турецких людей. В «скаске» ничего не говорится

о причине, для чего их придержали, но видно, что произошло что-то серьезное, после чего русские пошли от испанцев «наги, босы и голодны». И такое бедствие они терпели до самого Рима. В Риме один из товарищей Мошкина, воронежский крестьянин Григорий Кареев, заболел и лежал при смерти 2 месяца. А болезнь ему приключилась от ран, полученных на «каторге» (т. е. при стычке с турками); в Риме и «копье (т. е. наконечник стрелы) вынули у него из раны у папы римского». «У папы они принимали сакрамент» (против этого места в скаске думный дьяк Иван Гавренев сделал помету: «отослать их подначало к патриарху для исправления»). Из Рима удальцы пошли на Венецию, Вену и Варшаву (sic) и везде «разговаривали с цезарями» и «все им были рады» и все их звали к себе на службу, но Мошкин и его товарищи чужим цезарям служить не захотели.

Итак, во всех тяжелых и соблазнительных положениях своего плена, Мошкин показал себя человеком мужественным, неподкупным и беззаветно преданным православной вере и русскому царю. Таким он, нимало не

обинуясь, выставляет себя сам в челобитной со скаского, и так же представляют его личность современные комментаторы челобитной; но я опять говорю, что человек, сохраняющий в себе здравый смысл, не может принять все рассказанное в этой «скаске».

Обратим внимание на явные очевидности, которые кидаются в глаза и говорит, что в «скаске» Мошкина есть много неправды, после чего трудно верить и остальному.

IV

1) Возможно ли, чтобы судно, при взрыве на нем целого пуда пороха, встряхнулось так, что некоторых неподходящих людей скинуло в воду, а затем все свои люди уцелели и самое судно сейчас же было годно для дальнейшего плавания?

Нам думается, что это невозможно и что невозможность эта очевидна.

2) Вероятно ли, что Мошкин, опаленный огнем до пояса, сейчас же мог еще «спорно» разговаривать и, вставши, биться на саблях и проколоть брюхо совершенно здоровому паше?

По-нашему, это невероятно.

3) Отчего из 250 человек турок, которые плыли на судне, после взрыва насчитывается 270 турок? (20 сброшено в море, 210 убито русскими и 40 осталось у них, итого 270)?

Если это ошибка, то не странно ли, что она не замечена ни дьяком Гавреневым, ни Московским Обществом Истор<ии> и Древн<остей> ни редакциею газеты, которая нашла весь этот рассказ «достоверным и об-

стоятельным»?

4) Как могло быть, что Мошкин, раненный в голову и в живот, сейчас же мог принять команду судном и повел его далее?

5) Как могло случиться, что крестьянин Григорий Кареев, получивший тяжелые раны при взрыве судна, продолжал длинное путешествие морями и сушей и удальцы из-за него нигде не останавливались, а когда они уже много спустя плыли из Испании, после того, как у них там отобрали полоненных турок, то этот Григорий Кареев стал болеть от ран, полученных в начале их одиссеи; а когда они пришли в Рим, то Кареев у них так разболелся, что они дальше не могли плыть и простояли тут ради Кареева целые два месяца, и тогда только «вынули из него копье»? Неужто им не проще было поместить больного в госпиталь, а самим идти далее, а не харчиться в чужом месте, да еще вдобавок в католической столице, где их могла настичь и действительно настигла напасть духовная? Пока один больной исцелялся телом, все ожидавшие его выздоровления захирели духом и «приняли католицкий сакрамент»?

Что довело этих православных людей до такого поступка? Или они не знали постановления, что лучше умереть без всякого «сакрамент», чем принять его из руки и инославной, или не влекла ли их к этому надежда на папу, что он заступится за них. если они будут католики, и повелит испанцам возвратить им отобранных у них мусульманских невольников?

Вообще, какой интерес могли иметь иностранцы в том, чтобы им заманивать к себе простых, ничему не наученных и ни в чем не искусных русских людей, когда по сведениям, бывшим уже тогда в России, «в чужих землях было весьма многолюдно, а хлеба не обильно». Что могли отнимать у невольников испанцы? Неужто кому-нибудь нужны были их невольничьи лохмотья?

Нет! Все это не могло быть так, как писано в скаске, а не проще ли думать, что сами русские пришли в Рим о чем-то стараться, и усердно старающись, «приняли и римский сакрамент», но ошиблись в соображениях и это им не помогло в том, чего они добивались. Тогда они увидали свою ошибку и разорение и

поняли, что они в чужих краях никому не надобны. Это сознание, без сомнения, и привело их на родину, где Мошкин вдохновился и, приложив к былям без счета небылиц, сочинил свою «скаску» и подал ее царю с просьбою: «пожалуй меня, холопа своего, с моими товарищи, за наши службишки и за полонское нужное терпение своим жалованием, чем тебе об нас бог известит...»

Так это делалось в 1643 году, при царе Михаиле Феодоровиче, и тогда, судя по помете дьяка Гавренева, вся эта несуразная «скаска» была принята за серьезное дело. По крайней мере ей поверили в том, что Мошкин говорил о сакраменте, и за это его наказали. Затем, через двести пятьдесят лет, редакция современной русской газеты любитесь этим документом и, нимало не стесняясь помещенными в ней нелепостями, называет всю эту чепуху «достоверным источником, обстоятельно рисующим быт чужих стран и предприимчивость, бескорыстие и патриотизм русских людей». Тысячи читателей газеты не замечают, какую им предлагают глупость, и многие из них верят, что «скаска» составляли справед-

ливые и отважные патриоты, которым надо верить и им подражать.

Но, может быть, указанное стремление газеты внушить обществу неверное понятие об одном из видов нашей «письменности» происходит от того, что редакция, воспроизведшая «скаску» Мошкина, не знает, что есть «скаска», точно такого же «сложения», сочиненная сто лет позже, именно в 1794 году, и достопримечательная тем, что она получила *народную* оценку, а сочинитель ее признан *бродягою*.

Пусть посмотрят, как это разбирает *народ*.

В последней четверти восемнадцатого столетия проживал в Нижнем Новгороде мещанин Василий Баранщиков. Он был человек маленький, но предприимчивый, и трудиться не любил, а желал разбогатеть как-нибудь сразу. На несчастье это Баранщикову не удалось: он запутался в долги разным частным людям и накопил на себе недоимку в общественных платежах. Дело было худо, но Баранщиков не сробел и с веселым духом переписался из мещан в купцы, чтобы ему более верили; набрал у людей в долг кожевенного товара, выправил в январе 1780 года из нижегородского городского магистрата паспорт и уехал на ярмарку, которая собирается на второй неделе Великого поста в Ростове. С этой ярмарки почтенный Баранщиков домой уже не вернулся и оставил там на власть Божию и на людское попечение свою купеческую жену и детей без всякого пропитания. И купец, и товар – все пропало бесследно и в течение целых семи лет не было об этом удальце никаких слухов, как вдруг на восьмой год «нужа

пригнала его к луже», и он появился в России, представляясь различным вельможам и всех их прекрасно обманывал, пока попался своим общественным людям, которые сейчас же разобрали дела Баранщикова в тонкость и «Лазарю», которого он распевал, не поверили, а потянули его к расправе. Тогда Баранщиков обратился к старинному средству «снискать себе счастье в особину» и составил о своем бродяжестве скаску с тем, чтобы поднесли ее особам и царице в виде печатаной книжки под заглавием: «Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год» (С.-Петербург, 1787 г.).

Из этой редкой нынче книжки, представляющей экземпляр «скаски» екатерининского века, мы возьмем только самое существенное, что повествовал о себе Баранщиков. Он продал будто весь «свой товар» в Ростове и выручил за него денег 175 рублей. Из этих денег он хотел заплатить чту следовало за товар тем, кто оказал ему доверие, но деньги у него сейчас же украли ростовские мошенни-

ки. Баранщикова остался без всяких средств, так что ему не на что было и лошадей покормить. Тогда он, «не желая сидеть без дела, продал в Ростове за 40 рублей двух своих лошадей и отправился попытать счастья в Петербург».

По прибытии в Петербург, он нанялся матросом на корабль генерала Михаила Савича Бороздина и коллежского советника Василия Петровича Головцына с платою по 10 рублей в месяц и в половине сентября вышел в море. Корабль был нагружен мачтовым лесом, а курс они держали «из Кронштадта в Бордо и Гавр-де-Грас». Однако на этом корабле Баранщикова дошел только до Копенгагена, где он опять сделался жертвою злоумышленников. И отсюда справки о нем уже стали невозможными, а приходилось верить ему во всем на слово. «Скаска» же Баранщикова становится с этого шага все более интересною и менее вероятною.

VI

Случилось так, что когда корабль Бороздина Си Головцына пришел в Копенгаген, то Баранщиков «был спущен на берег, для покупки нужных припасов, и зашел в питейный дом, как свойственно русскому человеку, выпить пива». Тут он встретил датчан, которые показались ему очень приветливыми и чрезвычайно ему понравились. «Не понимая их языка, но видя их благорасположение, он знаками показал им, что ему надо спешить на корабль». А датчане тогда «сейчас же догадались, что он русский, и указали ему на водку и пиво».

Баранщиков, «как свойственно русскому человеку», не устоял против водки и пива и обязанности свои отложил, воспользовался приглашением и начал с датчанами пить. «Через полчаса их приятная компания увеличилась и к ним присоединился какой-то „нарядный плут“. Этот внес оживление а беседу тем, что стал объясняться по-русски в таком роде: „здравствуй, брат! здорово ли ты живешь? откуда и куда плывете?“ Себя же этот

„нарядный плут“ назвал русским из Риги, приехавшим на галиоте рижского купца Венедикта Ивановича Хватова, и плут угощал компанию водкою и пивом. Пили усердно все четверо, а „нарядный плут“ во все время выхвалял датчан, какие они хорошие люди, и какое у них славное житье, а потом стал склонять Баранщикова, чтобы он пошел на датский корабль ночевать. Баранщиков никак не мог придумать: для чего это датчанам хочется, и он сначала ни за что на это не соглашался, но потом, совершенно обласканный внимательными чужестранцами и особенно полагаясь на слова своего земляка, согласился».

И вот Баранщиков не сопротивляется соблазну и прямо из питейного дома идет с датчанами на пристань, а здесь садятся на лодку и переправляются на датский корабль. Так он избежал объяснений с лицом, которое послало его за покупками, но зато сразу же был удивлен очень неприятною переменою в обращении своих датских друзей: они «тотчас свели гостя в интрюм и приковали за ногу к стене корабля». Тут Баранщиков смекнул, что

он обманут, и стал просить датчан «угрозами и ласкою» отпустить его на русский корабль. Но датчане уже не обращали никакого внимания на его просьбы, а только прислали к нему того «нарядного плута», который в кабачке выдавал себя за русского, а теперь успокоивал и «улещал» Баранщикова обещанием, что его скоро раскуют и свезут в Америку, где «житье доброе и много алмазов и яхонтов». Он, «как свойственно русскому человеку», глупости поверил и перестал хныкать, а датчане, за то, что он утих, принесли французской водки и пуншу, накормили Баранщикова кашею и напоили водкой и пуншем, и он пришел в такое расположение, что опять «добровольно захотел остаться на корабле». Кроме Баранщикова, тут точно в таком же положении оказались еще и другие лица нерусской национальности, а именно один швед и пятеро немцев, и все они были заманены на судно и здесь удержаны и закованы.

Утешительное обещание «нарядного плута Матиаса», что их раскуют, исполнилось верно. Как только датский корабль миновал брант-вахты Гелсин-Норд и Гелсин-Бор, Ба-

ранщикова и с ним одного шведа и пятерых немцев датчане сейчас же расковали и велели всем им «одеть матросское платье», и «приставили их к матросскому делу», которое они и исполняли в продолжение пяти месяцев, до прибытия в июне 1781 г. в Америку, на богатый остров св. Фомы. На острове же св. Фомы началось другое: Баранщикова здесь высадили, но сейчас же «поверстали в солдаты» и привели к присяге. Так как он был верен православию и чухонского Евангелия поцеловать не мог, то вместо Евангелия он целовал корабельный флаг Христиана VII с изображением креста господня. Потом ему положили солдатское жалованье, «по 12 штиверов в сутки, т. е. 24 коп., да по фунту печеного хлеба из банана» и дали ему тут новое имя «Мишель Николаев» – так как «слово *Василий* начальники не могли понять».

VII

Солдат из Баранщикова вышел никуда не годный, и штиверы и бананный хлеб отслуживал он плохо. Он «был непонятен в учении ружьем и не мог привыкнуть к немецкому языку». Датчане, много с мим побившись, нашли более выгодным исключить его из строя и променять на двух негров. Так и сделали. По промену, Баранщиков достался испанскому генералу с острова Порторико, куда его и отправили. В Порторико Баранщикова привели в присутственное место и «заклеями на левой руке». Клейм на нем выставили несколько и все очень характерные. На левой руке Баранщикова были воспроизведены нижеследующие изображения: «1) Святая дева Мария, держащая в правой руке розу, а в левой тюльпан; 2) корабль с опущенным якорем на канате в воду; 3) сияющее солнце; 4) северная звезда; 5) полумесяц; 6) четыре маленькие северные звезды; 7) на кисти той же левой руки был изображен осьмиугольник, а еще ниже 8) „1783 год“, и еще ниже 9) буквы „М. Н.“, т. е. Мишель Николаев (стр. 16 и 17)».

Испанский генерал, выменявший себе Баранщикова за двух негров, определил его к себе на кухню и поручил ему: рубить дрова, чистить кастрюли и котлы, носить воду и исправлять всякие другие кухонные работы.

Обязанности кухонного мужика показались Баранщикову гораздо больше по душе, чем беспокойная солдатская служба, и притом Баранщиков был у генерала «доволен пищею» и обхождением, и он начал стараться, чтобы не попасть куда-нибудь хуже, и скоро выучился «понимать по-испански», и мог уже говорить с генеральшею, которая была очень добра и жалостлива, и вот ей стало жалко Баранщикова, что он оторван от семейства и живет в неволе, и она через полтора года упросила мужа отпустить Баранщикова на свободу.

Испанский генерал выдал ему печатный испанский паспорт с наименованием его: «Московитин Мишель Николаев», наградил его десятью песодорами (около 13 рублей) и отпустил на волю.

Баранщиков сейчас же стал заботиться, как ему возвратиться на родину, и для этого

нанялся матросом на итальянский корабль, который должен был вскоре отойти в Генуя; но в море судно подверглось роковой случайности, которая еще более отягчила участь Баранщикова.

VIII

Итальянский корабль, шедший в Генуя, в январе 1784 года был захвачен в плен «тунизскими разбойниками или мисирскими турками, живущими в Африке». Баранщиков сделался рабом разбойников, которые без всяких разговоров «обрезали его в магометанскую веру». Было или нет на это собственное согласие Баранщикова, он умалчивает, но известно, что магометане никакого человека без согласия его не обрезают. Омусульманив Баранщикова, дали ему имя Ислям, а потом стали его клеймить наново, и клеймили его «солнцем» на правой руке и отдали корабельному капитану Магомету. Магомет его полюбил и отвез его в Вифлеем и там «сделал своим *кофешенком*», т. е. заставил его варить кофе. Баранщиков жил у Магомета год и восемь месяцев, и житье ему было не худое, но он очень наскучил своею должностью кофешенка, потому что ему каждый день приходилось варить кофе раз до пятнадцати. Это ему очень надоело. Кроме приготовления кофе, Баранщиков имел только одно развлече-

ние: он развеселял и смешил четырех Магометовых жен, которым тоже было довольно скучно. Баранщиков развлекал их «скасками» о перенесенных им несчастиях и о своей русской жене и о детях, оставленных в Нижнем-Новгороде. Турецкие дамы очень всем интересовались и стали с Баранщиковым «откровенны и жалостливы», а он, «приметя их слабость», придумывал, как бы еще усерднее их утешать, и затеял показывать им смешное и по их пониманию «чудное», т. е. сверхъестественное дело, которого никто, кроме русского человека, сделать не мог бы.

Это касалось невероятности аппетита и еще более невероятной силы и крепости желудка.

Однажды, «во небытность Магомета» дома, Баранщиков, оставшийся один при четырех турецких дамах, «насыпал целый глиняный» горшок сарацинским пшеном и, сварив из этого кашу, положил в нее тюленьего жиру, отчего «каша разопрела и горшок треснул». Смотревшие на все это турецкие дамы ужаснулись, чту это такое состряпано и куда оно годно теперь, после порчи каши отвратитель-

ным тюленьим жиром. Тогда Баранщикова, видя их смешной ужас и непонятливость, сказал им: «вот посмотрите, сударыни, как я по-русски стану кушать кашу!» И он благополучно съел весь горшок и встал будто голоден.

Турецкие дамы глазам своим не хотели верить, что «Москов все это съел», и как только муж их возвратился, они все к нему подлетели и наперерыв друг перед дружкой спешили рассказать о каше с тюленьим жиром, от которой горшок лопнул, а брюхо Баранщикова осталось в целости.

Магомет не поверил женам, будто человек может съесть такое количество каши с тюленьим жиром и, призвав Баранщикова, стал его допрашивать по-турецки: «Ислям Баша! нероды чок Екмель?» то есть: «как ты кашу ел? Если горшок треснул – отчего твое брюхо не треснуло?» А Баранщикова весело отвечал паше: что это неважно, а что он еще два горшка съест. Магомет совсем изумился и сказал: «Ну, россияне! Вот так народ! Недаром они сожгли в Чесме турецкий флот, разбили корабли и умертвили храбрых турецких витязей!

Но скажи, пожалуйста, – отчего вы такие сильные?» На такое любопытство Магомета Баранщиков отвечал «хорошую ложь» (sic). Он сказал так:

«– Наши солдаты презирают смерть: у нас есть трава, растущая в болотах, и когда наш янычар (т. е. солдат) идет на войну, лишь бы только ее укусил, то не подумайте, чтобы один человек не напустил на двести ваших турок, т. е. ики Юс Адам (sic). Так и я такой же, меня не подумай удержать; я тебе служу год и два месяца, а ты, Магомет, должен, по повелению великого нашего пророка Магомета, через семь лет отпустить меня на свободу и дать мне награждение, и тогда я куда хочу, туда и пойду» (стр. 21–23).

«Совість Магомета изобличила», и он сделал Баранщикова «на некоторое время счастливым». Содержал его вроде домашнего артиста и начал часто приглашать к себе гостей, заставляя Баракщикова готовить и есть при них разопрелую кашу с тюленьим жиром, а потом рассказывать при всех «хорошую ложь», т. е. хвастать про ту траву, растущую в болотах, вкусивши которой, русские

становятся неодолимо мощны. Гости с постоянным удивлением смотрели на обжорство Баранщикова, а потом, когда слушали его хвастовство, то качали головами и давали ему «понемножечку денег». Баранщиков же думал, что теперь он уж стал настоящая «душа общества» и не ждал конца этому приятному положению.

IX

Дурацкие представления, которые давал Баранщиков, разумеется, скоро наскучили, и публика не съезжалась больше смотреть на его обжорство, Баранщиков лишился артистического фавора и опять «почувствовал печаль о своем отечестве и о христианской вере, о жене и о троих детях». Тогда он решился воспользоваться тем, что его никто не стерег, и он убежал от своего господина, но как он ранее не разузнал дорогу в Россию, то не знал куда идти, и его опять поймали и привели к Магомету, а Магомет велел «бить его по пятам палками шамшитового дерева до болезни».

После такого наказания Баранщиков долго провалялся, а когда поправился, то сейчас же принялся искать средств так убежать, чтобы его уже не поймала и не били. Баранщиков пошел на корабельную пристань и стал там толкаться между корабельщиками, отыскивая «добродетельного» человека христианской веры, который бы его выручил из плена. Судьба ему поспособствовала, и он на-

шел грека Христофора и попросился на его корабль. Христофор согласился его взять, но предварительно «учинил ему увещание». Он сказал: «как ты живешь у богатого господина, то смотри, ты ничего из его дому не украдь» (стр. 25).

Баранщиков дал слово, что красть не будет.

В условленный день Баранщиков явился на корабль Христофора, и они отправились в Константинополь. По пути они заходили в Яффу, Венецию, Микулу и Смирну.

Из Яффы Баранщиков с Христофором и двадцатью христианами ходили в Иерусалим на поклонение святыням.

Грек Христофор, придя в Иерусалим, свел Баранщикова к греческим священникам и рассказал им о его злополучной участи и о невольном (будто бы) магометанстве. Иерусалимские, греческие священники отнеслись к магометанству Баранщикова очень снисходительно, так как в их народе, при совместном житье с турками, переходы в магометанство и назад бывают нередко. Греческие духовные сейчас же разрешили Баранщикова и, в знак

освобождения его от магометанской веры, «приказали сторожу заклеить его на правой руке образом распятия господня. Клеймо это большое, устроено все из игол, усаженных в крепкой доске железной, натертой порохом» (sic). Баранщикову было очень больно, когда его этим заштемпелевали, но зато теперь он стал опять православный христианин, каков был ранее до пленения его разбойниками.

В Венеции Баранщиков предъявлял свой старый испанский паспорт и получил от местного управления другой печатный паспорт с изображением на оном почивающего в Венеции святого апостола и евангелиста Марка.

В Микуле Баранщиков ходил к российскому консулу из славанцев Контжуану, который отнесся к нему очень участливо и велел ему явиться в Царьграде к русскому министру Якову Ивановичу Булгакову.[2]

Когда корабль пришел в *Константинополь*, Христофор поблагодарил Баранщикова за службу и, снабдив его греческой одеждой, расстался с ним, но денег ему не дал ии ко-

пейки, и Баранциков всю свою надежду теперь возложил на русского министра Булгакова.

Х

На другой же день Баранщиков пошел в Перу, где жил российский министр. Самого Булгакова Баранщиков не видал, потому что, по случаю моровой язвы, свирепствовавшей в Царьграде, Булгаков выехал из города на мызу. Тогда Баранщиков обратился к домоправителю Булгакова и «изъяснил ему все свои обстоятельства». Но «г. домоправитель не подвинулся примером добродушного грека Христофора» – и мало дал веры рассказам Баранщикова и на паспорта его не обратил внимания, а «приказал, чтобы он никогда в дом императорского министра не ходил, претя отдачею, буди приидет, под турецкую стражу, сказав притом с негодованием: как бы то ни было, что ты магометанский закон самовольно или принужденно принял, нужды нет вступаться его превосходительству, *много вас такихбродяг*, вы все сказываете, что нуждою отурчали».

И вот Баранщикову при русских стало хуже, чем у чужаков, и пришлось ему добывать себе пропитание поденной работой на кора-

бельной пристани. Плата была изрядная: по два левка в день, т. е. по 1 р. 20 к., но жить было дорого, и денег едва хватало. В свободное от работы время Баранщиков не раз ходил в бедном греческом платье в российский гостинный двор и искал покровительства у приезжавших туда русских купцов, Но все русские купцы были тоже народ тертый и, как Булгаковский домоправитель, совсем не верили «скасам» Баранщикова и помощи ему не оказали. В этом горестном положении, оставленный невероятными русскими, Баранщиков обратился опять к легковерным туркам и среди их случайно встретил близ гостиного русского двора двух, с которыми сошелся и опять надолго отвлекся от осуществления своего страстного стремления возвратиться на родину и соединиться с любимой семьей и с истинною святою, православною верою.

XI

Новые знакомые, которых Баранщиков встретил у гостиного двора, «весьма изрядно» говорили по-русски и называли себя сапожниками из Арзамаса. Один из них, по имени Гусман, пригласил Баранщикова к себе на дом, «обещая счастье». Баранщиков пошел и сразу же убедился, что опять попал к магометанину. Гусман имел трех жен и убеждал Баранщикова позабыть про свое отечество и принять магометанство. А когда Баранщиков «из простодушия» и в предотвращение какой-либо беды открылся, что он давно уже магометанин и хорошо знает весь закон Магомета, то Гусман пригрозил ему и сказал: «для чего же ты, будучи в Магометовом законе, носишь одежду греческую? Ты знаешь ли, что за сие смерть определена?» Баранщиков испугался, «пал ему в ноги и просил пощады». Гусман оказался человек не злой, вместо того, чтобы вызвать против Баранщикова свирепое турецкое зверство за то, что он перекидывается то в христианскую веру, то в магометанскую, выдумал очень благочестивую шту-

ку, Гусман наказал Баранщикову скрыть, что он уже потурчен, с тем, чтобы еще один раз произвести над ним воссоединение к магометанству, – за что там набожные магометане подавали новосоединенным пособия и награды. Баранщиков видел, что Гусман хочет сделать из него прибыльную статью, и ему не сопротивлялся. А Гусман тотчас же побежал к имаму, «т. е. попу», и купил у него за 20 левков такую записку: «Россиянин Василий пришел в Стамбул, т. е. Царьград, добровольно принял Магометов закон, научен молитвам и наречен именем Исляма». При этом имам Ибрагим выучил Баранщикова одной Магометовой молитве.

Гусман же строго наказал Баранщикову, чтобы он делал вид, будто ничего не знает потурецки, кроме одной той молитвы, которой его научил имам. Так Баранщиков и начал выдавать себя за новопривывшего Магометанский закон, а Гусман начал этим аферировать.

Этот магометанский пройдоха прежде всего повел Баранщикова к великому визирю, который за принятие Магометовой веры по-

велел выдать Баранщикову сто левков и определил его в янычары с жалованием по 15 пар (22 1/2 коп.) в сутки. От визиря оба плута пошли по другим турецким господам и богатым купцам, которых Гусман знал как людей благочестивых и равнодушных к вере. Всех их они надули. Гусман им рассказывал, как Баранщиков проклял свою прежнюю веру и посвятился магометанству, и теперь его надо поддержать, чтобы он мог жить, не боясь своих прежних христианских единоверцев, а турки-купцы и знатные особы все поверили этим рассказам и давали им деньги. «Таким притворством святости и посредством хождения в мечети насбирали они через одну неделю 400 левков (240 руб.)». Сумма для двух негодяев очень хорошая, но с разделом ее вышла неприятность. Баранщиков рассчитывал все эти деньги взять на молитвы себе, так как они были подарены мусульманами для поддержания его благочестия, но Гусман захотел получить себе долю из сбора за то, что водил Баранщикова к благодетелям, а как Баранщиков не видел надобности с ним делиться, то у них из-за этого произошла неприятность, и

Гусман прибег к угрозе, что он расскажет о притворстве Баранщикова и «добьется для него смертной казни». Тут Баранщиков увидел, что дело опасно, и чтобы развязаться с дурным товарищем, дал Гусману половину (200 левков) из того, что они собрали, и Гусман этим удовольствовался.

Поправив свои денежные обстоятельства, Баранщиков опять надолго успокоился на счет православия и своего семейства и не спешил возвращением на родину, а служил янычаром и жил в казармах «под командой чиновника, по их названию юг-баши». Ему опять было очень не худо: он получал полное содержание, жалованье и табак и, прижившись, задумал жениться по-турецки, потому что «не обшить, не обмыть его было некому». И вот, чтобы получить себе швачку и прачку, Баранщиков обратился за помощью опять к тому же Гусману, с которым они было поссорились за деньги, собранные ид совместным плутовством. И они сейчас же опять сошлись на новое хорошее дело.

XII

Гусман не только укрепил Баранщикова в намерении жениться, но сейчас же нашел ему и невесту: он посоветовал ему взять себе в жены восемнадцатилетнюю Ахмедуду, сестру одной из трех жен самого Гусмана. Баранщикову было все равно: «кто бы ни была, лишь бы баба», и он сразу же согласился жениться на молоденькой Ахмедуде – и переселился из казарм в дом Гусманова и своего тестя, по имени Магомета. Свадьба его с Ахмедудой была совершена «по их обрядам в мечети» и положено условие: в случае жена будет не любя, «заплатить 50 левков (30 р.) пени и отпустить ее». С полученною таким образом молодою женою Баранщиков жил более восьми месяцев и жить ему было хорошо. Турки очень доверчивы, и тесть Баранщикова, Магомет, так его поставил, что Баранщиков был в его доме полным господином и распоряжался всем хозяйством. Тесть был им доволен и «хвалил всем почтение, отдаваемое всякий день зятем Ислямом».

Но Ахмедуде он стал неприятен, и она на-

чала сомневаться в том, что он истинно держится мусульманской веры, «замечая в нем *неумовение*», что для нее, как для мусульманки, было невыносимо. Через это Ахмедуда стала к нему не только неласкова, а потом даже сделалась «свирепая».

Но если Баранщикова утратил расположение у молодой Ахмедуды, то «имам (поп)» стал его убеждать, чтобы он взял себе еще одну жену, кроме чистюли Ахмедуды. Однако «всемогущий бог устроил жизнь его иначе».

XIII

Однажды, стоя на часах, Баранщиков увидал голову преступника, выставленную напоказ к в поучение всему народу. Это Баранщикова возмутило. В другой раз он встретил на улице одного хлебника, у которого недоставало на руке трех пальцев; Баранщиков спросил: отчего это у него недостает пальцев, а тот отвечает, что пальцы у него отрезаны за обмеривание и обвешивание покупателей. Баранщиков опять ужаснулся, как турецкие власти строго за всем смотрят, и узнал, что полиция даже нередко подсылает таких разубавщиков, которые все подсматривают и подслушивают: как мусульманин ведет себя в людях и дома, и нет ли в ком чего незаконного и утаенного, и если что-либо таковое окажется, то тогда тому нет пощады. И за несоблюдение себя с женщиной тоже могут наказать очень строго. Баранщикову это показалось ужасно недостойно и придирчиво, и он вспомнил, какое отвращение внушил к себе молодой жене своей Ахмедуде, и опять затосковал о родине и сейчас же ощутил непре-

одолимое желание вернуться в Россию.

Баранщикова так струсил, что не стал отлагать своего намерения нисколько, а немедленно пошел в Галату и разыскал там русского казенного курьера, приехавшего из Петербурга с бумагами к послу. Баранщикова расспросил у курьера, как и через какие города надо ехать до российской границы. Другого источника он для этой справки не придумал. Время же тогда приближалось к магометанскому Рамазану, и Баранщикова, как турецкий солдат, должен был идти на смотр к великому визирю и получить жалованье.

Тестя его, доверчивый и добрый старик Магомет, заботясь о нем, как о родном сыне, принялся его наряжать, и прибрал зятя очень щеголевато: он дал ему богатый шелковый кушак, перетканый золотом, кинжал, оправленный жемчугом, красными и зелеными яхонтами, и два пистолета с золотою насечкою.

Баранщикова позволил, чтобы добрый старик все это на него надел, а сам захватил с собою два паспорта и запрятал их под платье. Тестя и жена заметили это и любопытство-

вали, что́ это за листы, а Баранщиков солгал им, что «это русские деньги, которые он хочет разменять». Потом он явился к визирю и получил от него похвалу и 60 левков (36 р.) жалованья; а к тестю и к жене назад уже не вернулся.

XIV

Вместо того, чтобы возвратиться домой, Баранщиков пошел со смотра в Галату к знакомому греку Спиридону, у которого переделся в бедный греческий костюм, и оставил Спиридону турецкую чалму, красные сапоги, кушак, кинжал и два пистолета. Очевидно, что этому греку он все тестевы вещи продал, а деньгам нашел употребление, «как свойственно русскому человеку», и затем, 29 июня 1765 года, он отправился в свое отечество, «презирая все мучения, даже и самую смерть, если случится, что пойман будет».

Через пять недель, а именно четвертого августа, Баранщиков был уже на Дунае и встретил тут запорожских казаков. Они его приветили, и он проживал у них некоторое время, в разных домах, «у кого дни два, три и четыре».

Запорожцы оставляли его у себя совсем, но Баранщиков не захотел якшаться с такими буйными и непокорными перед властью людьми, а наоборот, он еще им внушал, чтобы они покорились и вернулись в Россию. Но

огрубевшие казаки его не послушались и отвечали: «что мы там (в России) позабыли? Поди туда ты, если хочешь, а мы не хотим, да и ты пойдешь, добра не найдешь».

Разумеется, запорожцы не сбили Баранщикова и не уклонили его от предначертанного им себе пути: он ушел от них и, питаясь подаянием, прошел через Молдавию и через Польшу и пришел наконец в Васильковский форпост. Здесь с него русские сейчас же сняли допрос, а паспорта отобрали и отослали его в киевское наместническое правление.

Из киевского наместничества Баранщикова получил указ, чтобы явиться в Нижнем Новгороде властям, причем правитель киевского наместничества генерал-поручик и кавалер Ширков отнесся к Баранщикову очень милостиво, пожаловал ему пять рублей на дорогу, а два паспорта отправил по почте в нижегородское наместническое правление. Баранщиков же пошел через города Нежин, Глухов, Севск, Орел, Белев, Калугу, Москву, Владимир и Муром и везде рассказывал свою «скаску» и находил охотников ее слушать, после чего его кое-как вознаграждали за его злострадания.

Наконец, 23 февраля 1786 г. Баранщикова, после семи лет отсутствия, вступил в Нижний Новгород, где положение его представляло большие осложнения, так как Баранщикову дело шло не только о том, чтобы здесь водвориться, но чтобы ему сбросили с костей все его долги... Да, он хотел, чтобы с него не взыскивали ни старых долгов, ни податных недоимок, ни денег за кожевенный товар, который он взял в долг и не привез за него из Ростова никакой выручки.

Надо было сделать так, чтобы все это ему было «прощено», и он на это надеялся, и в этом-то случае ему и должна была сослужить службу та «скаска», которую он о себе расскажет. Но мы увидим, как это различно действовало на тех, кто может прощать, и на тех, которым надо платить за прощенного.

XV

Нищенствовавшая семь лет в Нижнем жена Баранщикова не узнала своего мужа, так как он был «бритый и в странном платье». Он должен был рассказать своей Пенелопе бывшие с ним приключения, на первый случай, может быть, умолчав только об Ахмедуде. Тогда жена поверила, что это ее пропадавший муж, и «обрадовалась». Дом и все хозяйство Баранщиков нашел в полном разорении и узнал, что семья его уже давно нищенствует, чего как будто он не ожидал, покинув их без всего и на произвол судьбы. Но всего хуже было то, что Баранщиков многим здесь должен, и что нижегородцам не заговоришь зубы, как он заговаривал их доверчивым туркам, а иногда и грекам. Баранщиков сообразил, что самое надежное, на что он теперь может рассчитывать. – это найти благоволение у начальства и самое лучшее иметь на своей стороне высшего администратора в крае.

Генерал-губернатором в Нижнем о ту пору был генерал-поручик Иван Михайлович Ре-

биндер, который слыл за человека очень доброго, но очень недалекого. Баранщиков сейчас же ему явился и обошел его не хуже, чем турецкого пашу.

Ребиндер, выслушав скаску Баранщикова о его странствованиях и несчастных приключениях, не разобрал, сколько тут лжи и сколько непохвальных поступков есть в правде, и пожаловал проходимцу 15 рублей да сказал ему: «я тебе во всем помощником буду, но не знаю, как гражданское общество в рассуждении за шесть лет податей службы и тягости с тобой поступит: ты прочитай нового городского положения статью 7, я городовому магистрату приказать платить за тебя не могу».

Это Баранщикову не понравилось: он был того мнения, что генерал-губернатор может всем и все приказать, и именно того только и хотел, чтобы подати за него заплатили миром, а частные долги простили ему. С «законом же положений гражданского общества» он не хотел и справляться. Раз, что генерал-губернатор толкует свои права так ограничено, Баранщикову нечего копать в законах, а лучше прямо искать сочувствия и снисхожде-

ния у граждан Нижнего Новгорода, которые его знали и помнили, и платили за него его недоимки.

Но граждане совсем «не вняли голосу чело- веколюбия» и, несмотря на то, что Баранщи- ков показал им себя всего испещренного раз- ными штемпелями и клеймами, а потом, стоя перед членами магистрата, вдруг залопотал на каком-то никому непонятном языке, они объявили его *бродягою* и предъявили к нему от общества платежные требования. Нижегородцы насчитали на него за шесть лет бродяжничества 120 рублей гильдейных, а как Баранщикова денег этих заплатить не хотел, то они его посадили в тюрьму.

Добродушный Ребиндер оказал было в за- щиту Баранщикова какое-то давление, и бродягу за общественную недоимку из-под аре- ста выпустили, но сейчас же на него были предъявлены от частных лиц счета и векселя более чем на 230 рублей, и Баранщикова, по требованию этих кредиторов, опять посадил под стражу.

Тут он увидел разницу между неверными турками и своими единоверными нижегород-

цами и сразу понял, что ему от этих не отвертеться; сразу же, в удовлетворение его долгов кредиторам, был продан с торгов его дом, который был так ничтожен, что пошел всего за 45 рублей. После этого Баранщиков был на время выпущен из тюрьмы, но теперь семья его лишилась даже приюта, которого у нее не отнимали, пока отец странствовал, ел кашу, служил в янычарах и, опротивев одной жене, подумывал взять себе еще одну, новую.

Но и этого мало: Баранщиков надеялся, что теперь, когда дом его уже продали, сам он, как ничего более не имеющий и вполне несостоятельный должник, останется на свободе. Тогда он опять куда-нибудь сойдет и что-нибудь для себя промыслит; но и это вышло не так: к ужасу Баранщикова, нижегородцы измыслили для него страшное дело. Так как Баранщиков был еще не стар и притом здоров, то магистрат рассудил, что ему не для чего болтаться без дела, и постановил – «взять Баранщикова и за неуплату остальных 305 рублей (185 долговых и 120 гильдейных) отослать его в казенную работу на соляные варницы в г. Балахну по 24 рубля на год».

Вот когда Баранщикова вспомнил предсказание, которое ему делали зарубежные заповождцы, которых он хотел исправить, звал возвратиться в Россию, а они ему отвечали: «иди сам, а когда и пойдешь, то добра не найдешь...» Вот оно все это теперь и сбывалось!.. Что еще могло быть хуже, как попасть из кофишенков да в соляные варницы с отработкою по двадцать четыре рубля в год! За триста пять рублей ему там пришлось бы провести лет семь...

От этого он непременно хотел увернуться, а как генерал-губернатор наблюдает законы и не требует своею властью их нарушения, то Баранщикова в крайнем отчаянии обратился к вере и к ее представителям.

XVI

Баранщиков бросился искать помощи у нижегородского духовенства, которое, по его мнению, могло его защитить и даже обязано было задержать его высылку в Балахну, потому что его следовало еще исправить, как потурченного. Он хотел говеть и исповедаться во всем на духу и получить прощение в своих грехах; но русское духовенство совсем не было так великодушно, как греческое, которое враз исправило его в Иерусалиме и при этом пелевало. Нижегородские священники или были неопытны в этой практике, или же держали сторону общества, и совсем не захотели принимать Баранщикова на исповедь, потому что он был обрезан и жил с женою в магометанском законе. Но все-таки по этому поводу возник вопрос, а пока об этом рассуждали, отправка Барамщикова в Балахну, на соляные варницы, замедлилась, а ему это и было нужно.

Священники отослали его к нижегородскому архиерею, который выслушал его милостиво, но вопроса о причащении его не ре-

шил и, в свою очередь, препроводил Баранщикова к митрополиту новгородскому и с. – петербургскому Гавриилу.

Вот это Баранщикову и было нужно: он того и хотел, чтобы попасть в столицу, где он надеялся найти жалостливых покровителей, через которых может довести свое дело до самой Екатерины. Повели нашего странника в Петербург и представили его там Гавриилу.

Митрополит Гавриил (Петров) был муж «острый и резонабельный». Так по крайней мере аттестовала его Екатерина II, посвятившая ему книжку о Велизарии с такими словами, что он «добродетелью с Велизарием сходен». Митрополит, сходный с Велизарием, действовал в духе времени и без затруднения разрешил сомнение нижегородского духовенства: он велел Баранщикова в Петербурге отъисповедовать и причастить. Таким образом Баранщиков, воссоединенный уже с православием благодатию священников греческих, теперь был закреплен в этом русскою благодатию и получил в этом доказательство, удостоверявшее, что в столице самые высшие особы светского и духовного чина приняли

его сторону и отнеслись к нему совсем не так, как нижегородская серость.

В удостоверение означенных счастливых событий, Баранщиков выправил себе из с. – петербургской духовной консистории «билет» и, под защиту этого документа, вернулся обратно в Нижний. Теперь он был уже не «отурченоч», а чистый православный христианин и притом человек известный многим вельможам Екатерины. После этого можно было надеяться, что нижегородцы уже не посмеют теперь выбирать с него свои долги и не погонят его в Балахну на варницы, но нижегородцы ничем этим не прельстились: они продолжали видеть в Баранщикове «бродягу», за которого другие рабочие люди должны платить подати, да еще терпеть его мошеннические обманы, и потому они остались непреклонными и опять приступили с своими требованиями, чтобы послать его в Балахну на варницы. Баранщиков этого никак не ожидал и очень удивился, как простые купцы и мещане смеют умышлять над ним такую грубость! Теперь он уже не робел, как было до представления его митрополиту, а писал в

негодующем тоне: «Как! Это то самое общество, которое, по призыву Минина-Сухорукова, готово было заложить жен и детей и охотно вверило Минину свои имения, чтобы он с Пожарским „очистил Москву от поляков?“. И вот это, оно-то самое общество, не следуя ни примеру благотворительного купца Кузьмы Сухорукова, ни указу ее императорского величества о банкрутах и проторговавшихся купцах», беспокоит его, Баранщикова, который «остается по претерпении злоключений и несчастий в Америке, Азии и Европе, и в своем отечестве».

Ну, так он им себя покажет!

Баранщиков составил о себе «скаску» и отпечатал ее в Петербурге книжкою, из которой мы и взяли большинство поданных им о себе сведений. Книжка вышла в 1787 году, и издание ее сделано для тогдашнего времени очень опрятное и должно было стоить значительных денег. Следовательно, у Баранщикова были какие-то состоятельные друзья, которые помогали ему издать его глупую и лживую «скаску», вместо того, чтобы заплатить его долги тем людям, которых он разорил сво-

им беспутством.

Знатные лица и самый пошлый проныра и плут, проштемпелеванный всякими знаками во свидетельство его измен вере, объединяются в одном действе, лишь бы создать положение «наперекор» «положению закона гражданского»...

Это говорит много.

XVII

Литературная выходка Баранщикова до сей поры не обратила на себя внимания исторических обозревателей нашей письменности, а она этого сто́ит, ибо это едва ли не верный опыт «импонировать» обществу посредством печати. В то же время это есть и первый опыт шантажа книгою. Во всяком случае, скаска Баранщикова представляет собою очень характерное явление, которое показывает, как русское общество выросло за сто лет со времени скаски, поданной Мошкиным царю Михаилу, а в симпатиях к бродягам и в недружелюбии к «положениям закона гражданского» не изменилось. По существу и по целям составления, обе показанные скаски совершенно одинаковы: та же манера бедниться, канючить и выставлять на вид свою удаль, хвалить верность, благочестие и свои страдания. Даже необдуманность и неискusstво в сочинении, и согласование очевидной лжи с такою действительностью, которой бы надо стыдиться и промолчать о ней хоть из скромности, — все одно и то же, как в «скаске»,

поданной Мошкиным в 1643 году, так и в «скаске» Баранщикова, *напечатанной* в 1787 году. Баранщиков точно так же лжет о том, как он неумышленно съехал в Ростов с чужим товаром и попал ненароком на датский корабль в Кронштадте, а потом не знает для чего сам себя клеймил то христианскими символами, то мусульманскими, и наконец сделался кофишенком у турка и занимал общество своим обжорством, а потом плутовал, обирал турок и обокрал тестя и ушел, и паки восприял свою веру, и тем спасся, и долгов не заплатил, и не попал на варницы...

Нравственное достоинство обоих этих памятников бродяжной письменности одинаково, но изучения «быта чужих стран» у Баранщикова уже больше, чем у Мошкина, и манера описаний у Баранщикова художественнее и вероподобнее. У Мошкина нет ни одной такой бесстыжей, но яркой подробности, как поедание каши с тюленьим жиром или негодование молодой Ахмедуды на мужнино неряшество. Тут свои и чужие люди являются в положениях очень живых и удобных для сравнения, чего нет в скаске Мошкина, но

кроме того скаска Баранщикова гораздо определительнее скаски Мошкина показывает, к каким занятиям иностранцы употребляли у себя тех русских людей, которые к ним приставали. Мошкин только хвалился, что его манили, но он еще не знал, к чему бы его с товарищами приставили, а Баранщиков уже испытал все это на деле и убедился, что русскими помыкали, и они даже у турок употреблялись только на самые простые услуги. Даже и в азиатском Вифлееме Баранщиков не мог показать ничего умнее, как только ел страшное количество каши с ворванью... Очевидно, что и Мошкину с товарищами выпало бы что-нибудь не лучше этого, но он, как человек необразованный, почитал себя за что-то очень редкостное и драгоценное, или же он прямо хвастал в надежде, что слушатели его скаски еще невежественнее, чем он сам, и не сумеют его хвастни отличить от истины. На этом его холопью душу можно понять и простить, но как быть с газетою, которая распространяла и нахваливала эту надутую и вредную ложь в конце XIX века?.. Газета не могла же не знать, что люди, писавшие скаски, всегда хвастали,

и что трудолюбивые люди в народе обыкновенно понимали их, как бродяг, и их бродяж-ным скаскам не верили, чему и служит живым доказательством отношение нижегородских граждан к «скаске», поданной в 1793 году мещанином Баранщиковым. Газета, без сомнения, могла найти надобность в воспроизведении «скаска» Мошкина, как *любопытного документа*, но для чего же она стала уверять читателей в том, что эта скаска представляет «достоверный источник» и что такие неосновательные лгуны и хвастуны должны, будто бы, представлять собою «предприимчивость, бескорыстие и патриотизм русских людей»?..

Пусть сохранит господь всякую страну от таких патриотов и... от такой печати, которая их хвалилт!

XVIII

Вместо того, чтобы уверять общество в столь явном и очевидном вздоре и такими уверениями портить понятие людей о бескорыстии и патриотизме, влиятельная газета поступила бы гораздо лучше, если бы, при большом изобилии ее средств, она произвела сравнения «скаска» 1643 года с «скаскою» 1793 года, которая сделалась известною раньше мошкинской скаски. В этом сравнении газета, без сомнения, могла бы указать своим многочисленным читателям интересное сходство, и еще более интересную разницу в подходах к тому, как получить «жалованье чем господь известит». И все бы видели, как наивен был Мошкин, который составлял свою «скаску» в 1643 году только с тем, чтобы действовать непосредственно на жалобливость царя Михаила, и как дальше метил и шире захватывал уже Баранциков, живший столетием позже; дрянной человек задумал взять себе в помощь печать и, издав книгу, обмануть ею все русское общество и особенно властных людей, которые находили удоволь-

ствие помочь ему идти *«наперекор положению закона гражданского»*.

Таким раскрытием правды понятия читателей были бы направлены к тому, чтобы уважать лучшее, а не худшее, – именно трудолюбие земледельцев, а не попрошайничество бродяг, которые указывали пример другим, как уклоняться от исполнения общественных обязанностей, взваливая их на скромных и трудолюбивых людей, не освобождаемых от исполнения всех *«положений закона гражданского»*. А такие люди стят самого теплого участия, которое просвещенная и честная печать должна и привлекать к ним.

А что потворства проискам проходимцев со стороны печати не только увеличивают наглость и дерзость людей этого сорта, но даже прямо накликают их в страну на ее стыд и несчастье – мы это покажем из наступающего третьего очерка, герой которого протрубил о себе скаску через лейб-газету и тем приуготовил себе успех, какого не мог бы ожидать никакой иной штукарь, не заручившийся союзничеством с газетчиком.

Появление Ашинова и вся его блестящая и быстрая карьера в России с трескучим финалом в Обоке есть дело вчерашнего дня, но, тем не менее, все это, однако, настоящая «скаска».

Несмотря на то, что Баранщиков появился сто лет после Мошкина, а Ашинов сто лет после Баранщикова, они все трое, по духу и доблестям, люди одного и того же сорта, но в происхождениях каждого из них дух времени отражается по-своему и заставляет их избирать иные приемы к тому, как добывать «пессадо-ры» и «штиверы» в чужих краях, а потом у себя дома просить «милостивое жалованье за службишку». Мошкин, Баранщиков и Ашинов все не любят «положений закона гражданского» и идут к своим целям обходами, причем, однако, следят за практикуемыми в данное время приемами, и сами способны выбирать, что подходит по времени. Мошкин в 1643 году едва голос поднимал и канючил: «пожалуй меня холопа с товарищи» и дьяк Гавренев распорядился над ним «рукою

властною». Пока дело дошло до того, чем этого «холопа помилуют», Гавренев уже «пометил» наказать его за то, что принял от папы сакрамент. Баранщикова, появившийся в конце восемнадцатого столетия, в литературный век Екатерины II, уже начинает прямо с генерал-губернаторов и доходит до митрополита, а свое «гражданское общество» и местное приходское духовенство он отстраняет и постыждает, и обо всем этом подает уже не писаную «скаску», которой «вся дорога от печи и до порога», а он *выпускает печатную книгу* и в ней шантажирует своих общественных нижегородских людей, которые, надокучив за него платить, сказали ему: «много вас таких бродяг!» Этот уже не боится, что его дьяк «пометит» к ответу за «сакрамент». Несмотря на то, что Баранщикова сделал гораздо больше, чем принятие католического сакрамента, ибо он не только раз, но несколько раз принимал из-за выгод магометанскую веру, собирал себе за это по дворам «ризки» и потом женился на турчанке Ахмедуде и хотел взять еще другую жену, но все это не помешало Баранщикову поставить себя во мнении

властных особ в Петербурге так, что «нижегородские попы и граждане ничего ему не сме- ли сделать». Но этого еще мало: Баранщиков не только отверг обязанность платить спой долги и подати, он направил в укор нижегородцев такой шантажный рожон: «Как!.. Это то самое общество, которое, по призыву Минина-Сухорукова, готово было заложить жен и детей и охотно вверило Минину все имения, чтобы он очистил с Пожарским Москву от поляков» (72 стр.). Издав с чьей-то помощью дрянную книжонку в Петербурге, бродяга Баранщиков уже издевается над обществом, озабоченным «исполнением положений закона гражданского», и выводя себя на одну линию с Мининым, набрасывает на общественных людей обвинение в патриотической измене...

Попы и мещане должны были смириться и стерпеть наглости этого выжиги.

Просиявший же в конце XIX века Ашинов уже и знать не хотел о такой среде, как попы или мещане, а он прямо протянул откуда-то свою куцапую, бородавчатую руку Каткову и пошел фертом.

В один достопамятный день редактор Катков, находившийся в оппозиции ко всем «положениям закона гражданского», за которые стоял ранее, возвестил в «Московских ведомостях», что в каком-то царстве, не в нашем государстве, совокупились рать, состоящая из «вольных казаков», и разные державцы, а особенно Англия манят их к себе на службу, но атаман новообретенных вольных казаков, тоже «вольный казак Николай Иванович Ашинов», к счастью для нас, очень любит Россию, и он удерживает своих товарищей, чтобы они не шли служить никому, кроме нас, за что, конечно, им нужно дать жалованье. Катков сразу же почувствовал к этому атаману симпатию и доверие, рекомендовал России этим не манкировать, а воспользоваться названным кавалером, так как он может оказать службу в тех местах, где русским самим появляться неудобно.

Первое катковское заявление об этом было встречено с удивлением и недоверием: в Петербурге думали, что «злой московский ста-

рик» что-то юродствует. Люди говорили: «На кой нам прах еще нужна какая-то шайка бродячей сволочи!» Но Катков продолжал свою «лейб-агитацию» и печатал в своей «лейб-газете» то подлинные письма сносившегося с ним Ашинова, то сообщения о том, что могут сделать в пользу России вооруженные товарищи этого атамана, укрывавшиеся в это время где-то не в нашем государстве в камышах и заводях. «Вольные казаки» не знали: идти им за нас, или «за англичанку», которая будто бы уже дала им заказ, чтт им надо для нее сделать, и прислала человека заплатить им деньги за их службишку. Тогда самые простые люди, имеющие понятие об устройстве европейских государств и о быте народа, сочли все это за совершенно пустую и глупую выдумку и знали, что ничего такого быть не может, но Катков все свое твердил, что вольные казаки могут уйти у нас из рук; что они уже и деньги от англичанкиного посла взяли, но что все-таки их еще можно остановить и направить к тому, чтобы они пошли и подбили кого-то не под англичанку, а под нас.

Это становилось смешно и никто не мог

понять: какую надобность может иметь «англичанка» в том, чтобы разыскивать и нанимать к себе на службу подобную шушеру, – не понимали и кого еще нам надо под себя подбить? Но тогда Катков рассерчал и объявил, что относиться к Ашинову с недостатком доверия есть измена!

Стало даже неудобно и разузнавать: кто он такой в самом деле и откуда взялся?

Но вдруг там же, в Москве, нашелся бесстрашный человек и стал спорить с Катковым.

Отважный московский гражданин был другой газетный редактор, Алексей Алексеевич Гатцук, издававший «Крестный календарь» и своего имени иллюстрированную газету. У Гатцука были в разных городах корреспонденты, и один из них знал об Ашинове и сообщил в «Газету Гатцука», что Николай Иванов Ашинов вовсе не «вольный казак», какового нет и названия, а что он пензенский мещанин, учился в тамошней гимназии и исключен оттуда из младших классов за нехорошие поступки. Потом он бродил и съякшался с какими-то темными побродягами и скитался с ними где попало, находясь в стороне от спокойных людей, исполняющих положения гражданского закона, Гатцук с радостью напечатал это известие, чтобы «открыть обществу глаза» и не допустить его до глупости носиться с человеком, который вовсе не то, за кого он себя выдает и кем он *быть не может*, так как никаких «вольных казаков» в России нет. Но несмотря на точность сведений Гатцука, которые ничего не стоило проверить в каж-

дую минуту, и не стесняясь тем, что «вольных казаков» в самом деле нигде нет, очевидная ложь, выдуманная каким-то выжигоем, при поддержке Каткова, стала за истину и заставила людей довольно почтенных играть перед целым светом унижительные и жалкие роли.

Говорили: «Да!.. черт возьми!.. Оно кажется... что-то того... Что-то не чисто пахнет, но ведь если подумать... Если вспомнить, кто был Ермак... так и надо потерпеть...»

«Ну да, – возражали им: – но ведь Ермак „поклонился Сибирию“, а этот чем же будет кланяться?»

«А вот у него уж что-то есть!..»

И вдруг называли Египет и Индию.

И что же! «Все повинилось суете», «мудрые объюродеша» и «за послушание истины верили лжи» (2 Ос. II, 11–12).

И не прошла еще вся эта болтовня, как явился персонально сам Ашинов и сразу пошел из двора во двор, с рук на руки, находя везде «преданность и уважение и уважение и преданность». А про Гатцука Катков напечатал, что «в Москве были большие жары, и с Ал. Ал. Гатцуком что-то сделалось». Этого бы-

ло довольно, да, пожалуй, можно было обойтись и без этого... А Ашинов в это время уже ходил по Петербургу и «разбирался» тут с привезенными им заморскими птицами, черномазым мальчиком и неизвестною девицею, в звании «принцессы» и дочери дружественного царя Менелика, которая по пути уже изрядно подучилась по-русски... Ее привечали дамы, а Ашинов сам был везде нарасхват: его все желали видеть и некоторые редакторы сами за ним следовали, а их газеты провозвещали о вечерах и собраниях, которые Ашинов удостоивал своим посещением. Коренастый, вихрястый, рыжий, с бегающими глазами, он ходил в казачьем уборе и появлялся в собраниях в сопровождении таких известных лиц, как, например, Аристов, редактор Комаров, священник Наумович, г. Редедя и один, а иногда даже два поэта, из которых один, старик Розенгейм, обкуривал его мариландскою папироскою, а другой нарочито искательный мелодии втягивал в себя даже собственные черевы.[3] Где сопровождаемый свитою, где один, Ашинов показывался у людей с большим весом, и день ото дня все смелее претен-

довал на предоставление ему еще большей представительности. И как это ему нужно было очень скоро, то он торопил своих покровителей, попугивая их, что промедление опасно, так как оно может вывести из терпения его товарищей, которым уже надоело сидеть в камышах и они могут кликнуть «айда», и тогда все наши выгоды предоставят «англичанке». Такой несчастный оборот мог случиться ежеминутно (и зачем он не случился!), а Ашинов становился нетерпелив и очень дерзок. Как человек совсем невоспитанный и наглый, он не стеснялся бранить кого попало, а иногда смело врвался в дома некоторых сановников, хватал их за руки и даже кричал угрозы. Генерал Грессер не мог слышать имени этого претендента, но терпел его, считая его за своего рода «табу», которого нельзя призвать к порядку. А тот пользовался этим с безумием настоящего дикаря и довел свою азартность до того, что начал метаться на своих, как на чужих, и даже на мертвых, В сем последнем роде, например, известен был такой случай, что когда в одном доме были вместе Ашинов и Розенгейм, и судьбе было

угодно, чтобы генерал Розенгейм тут же внезапно умер, то он упал со стула прямо к ногам Ашинова, а этот вспрыгнул с своего места и, щелкнув покойника рукой, вскричал:

– Эх, ты! Нашел где умирать, дурашка!..

И Петербург все это слушал и смотрел и... даже уж не удивлялся...

То, что здесь изложено, — это не только «факт», как любят заключать свои сообщения газетные репортеры, но это «даже настоящее событие», как говорит один из значительных петербургских ораторов. Ашинов достиг самого полного преобладания над всеми «исполнителями положений закона гражданского» потому, что его вывел в свет редактор, не уважавший «гражданских постановлений». Такой соучастник так важен, что Ашинов начал свою карьеру с того, о чем Мошкин (XVII в.) не смел бы и думать, а Баранщиков (в XVIII в.) дошел только в конце своих подвигов, и то в слабой степени. Ашинов прямо сразу пошел на разорение «положений закона гражданского», потому что он был хорошо осведомлен о том, кто в периодической печати столь ненавидит законность, что не погнушается идти против нее заодно с кем попало... И когда эти два деятеля соединили свои имена и свою ярость — вышло то, что унижительный инцидент Ашинова никакими клещами не может быть отодран от историче-

ской фигуры Каткова...

Если соответственные элементы будут в наличности и в XX веке, то позможно, что явление повторится, и тот век тоже выставит своего продолжателя Мошкину, Баранщикову и Ашинову, но вдохновенный таковским духом молодец в двадцатом веке должен иметь больший успех, а именно – он должен начать с того, чем кончил Ашинов, когда стал в гордой позе над телом последнего славянофильского поэта, лежавшего у его ног в генеральской униформе.

Печать же должна показать, насколько «скасочники» стоят ниже людей, «исполняющих положения гражданского порядка», так как только святой труд этих людей дает средства на все действительные нужды страны, а также и на удовлетворение многих ненужностей.

Впервые опубликовано – журнал «Северный вестник», 1894.

Примечания

Турок было всего 250 человек. Из них сброшено в море 20, побито 210 и осталось 40 человек, что составляет всего 270 человек. Значит, после катастрофы на двадцать человек стало больше. Газета даже и этого не заметила. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Як. Ив. Булгаков был назначен русским министром в Константинополь в 1781 г. и занимал эту должность семь лет. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

В рассказах Ашинова было немало тем для поэзии в оссиановском роде: так, я помню, как он однажды рассказывал об англичанине, который им будто привез «деньги от англичанки» и требовал, чтобы они ехали *сним*, а они «деньги приняли», а поехали *в свою сторону*, а англичанина повезли *за собою* и на остановках его «драли», пока он «не стерпел более» и они его «там и закопали». (Прим. Лескова.)

[^^^]